

Олег ПАВЛОВ: МОСКВИЧЕЙ В АРМИИ БЬЮТ С ПОРОГА

Разговор с писателем Олегом Павловым в том числе пойдет и об армии, потому что он все больше о ней пишет, так она его в свое время поразила — служба в конвойных войсках.

Два года назад он вошел в тройку основных номинантов на "Букера" (за "Казенную сказку"), но "Букера" не получил. В "Вагриусе" готовится его книжка: два романа, рассказы. До недавнего времени зарабатывал в больнице — опять же охранником. Цитирую из отрывка "Дневника больничного охранника", напечатанного в "Литературной России" в качестве самостоятельного очерка:

"Все сырое тряпье, которое не имела сил даже толком выжать, долго и мучительно напяливали — одеванье ей давалось совсем тяжело. На обмотки никаких сил ей уж не хватило — и по стеночке поползла. Но охранники ей запретили стенки лапать, и она уж выходила бочком, как по парнику. Даже когда наружу выбралась, запрещали о стенку больничную опираться, чтобы не замарала. Еще хотели проверить на ней перцовую ударную смесь из баллончика, хотели в нее напоследок прыснуть и поглядеть, как будет действовать, но раздумали в конце концов мараться и дали выползти на мороз, только пригрозив, чтоб отползла подальше от больницы".

— Показывал твой очерк разным людям. Говорят: не хватает личного покаяния автора.

— Мне это тоже говорили. Насчет покаяния я знаю, что скажу: это очень интеллигентский подход. Это грех не мой. Я, когда там работал, я понимал, что я человек подневольный, что я часть этого зла. Все мы

часть этого зла. И эта бомжиха, она тоже часть всеобщего зла, она оказалась жертвой, но жертвой мог оказаться кто угодно. Вот ее привезли и сдали врачам, да? А врачи, которые давали клятву Гиппократу, говорят: "Выкидывайте ее". С обмороженными ногами?! Вот это как понять? Я-то не давал клятву Гиппократу, я просто обязан выполнять требования врачей, потому что у меня есть устав охранной бригады. Или я должен уволиться и тоже быть бомжем, не получать денег. Каждый делает в меру своих сил. Каждый выбирает то, что ему по плечу. В чем каяться и что делать. Что мне было по силам, я делал. Я шапку не раз отдавал на морозе бомжам, когда их выгоняли. А что было за гранью моих сил, я не делал. Я простой человек. Я не святой. Я не иисусик-интеллигентик, который за все кается. Я в армии был, я гадам морды бил, я сейчас жене не могу рассказать, что я там делал, потому что она скажет, что ее муж изверг. Это мужская жизнь. Жизнь — это штука жесткая. Как на войне. Человек пришел с войны, а ему говорят: "Но ты же, негодяй, там людей убивал!" — "Убивал. Да. И даже не знал, за что убиваю". Эта проблема в таком восприятии очень по-интеллигентски звучит: покаяться. Помнишь, был фильм Элема Климова "Иди и смотри"? Я все это видел и хочу, чтобы и другие это знали. Это вопрос общественный. Конечно, каждый чело-

век обязан какое-то милосердие проявить, но в той ситуации его никто не проявил. И никому лучше от этого не стало. Я никого не могу судить, права не имею, и очерк этот не для того был написан, чтобы кого-то осудить. Наша жизнь не настолько стерильна и цивилизована, чтобы извлекать из нее такие цивилизованные вопросы. Какое, на хрен, покаяние, когда все мы в этом?

— Претензия еще была такая, что автор берет историю, очевидцем которой он стал, историю чужой беды, и смакует ее по деталям — смакует! Использует как материал для своей тяги к письму.

— Каждый вправе как угодно воспринять. Это был мой дневник. Я приходил с работы и тут же записывал то, что увидел за день. Я даже времени не имел, чтобы смаковать. Ставилась задача оставить свидетельство для себя. Семь утра — я на работе. Восемь вечера — я дома за компьютером. Вопрос: почему я решил публиковать дневник? Для того, чтобы это все обнаружить. Чтобы это свидетельство стало всеобщим достоянием. Люди как угодно могут относиться к этому, но суть в том, что эти факты никто не могут оставить равнодушным. В конце концов что-то должно происходить, чтобы этого не стало. Общество должно знать, что творится в его больницах, в его тюрьмах, в его казармах. А выводы дальше пусть каждый делает сам: счи-

тать ли себя ответственным за это, не считать ли себя ответственным. Со многих снимает ответственность то, что они не знают этого, не видят. Ну вот, вы теперь знаете. Пожалуйста! Такая у меня была цель.

— Много пишется о том, что литература сейчас эмоционально и энергетически опустошена...

— Да, литература сейчас мертва. Но что ее мертвит? Ее литературщина мертвит. Когда дурно пахнет искусством от написанных книг. Литература заражена литературой — не жизнью. Сейчас в ней нет энергии даже повествовательной. Литература лишь тогда имеет смысл, когда является поводом к разговору о жизни. Если литература дает повод к разговору только о литературе, она мало чего стоит, она больна.

Для себя я вижу перспективу — если говорить о перспективах — в привнесении в литературу публицистического элемента. Письмо прямого обращения, письмо без подтекста, чтобы твоё отношение прочитывалось сразу и сразу же рождало реакцию. Энергетика возмущения, энергетика социального свойства. Литература должна становиться более общественно значимой. И меньше, чтобы она была собственно литературой — когда мы ищем голую художественную красоту.

— Что ты вкладываешь в термин "литературщина"?

— Пришел человек из жизни и написал про жизнь, и это стало литературой. А потом другие, вместо того чтобы прийти из жизни и написать про эту жизнь, берут то, что уже стало литературой, и из этого черпают энергию в языке, в образах, в обмысливании. Самый яркий пример литературщины, самый грубый — эпигонство. Самый изощренный — это когда разрабатываются только слова, вместо того, чтобы разрабатывать жизнь. Литературщина — это когда вещи как бы сочиняются. Конечно, все мы придумываем, и нельзя без этого. Но литературщина — это когда сочиняется все целиком, когда энергия черпается не из жизни, а из всевозможных литературных рефлексий, из какого-то нажитого чисто литературного опыта. "Второй вкус" это называется. Есть "пенка", а есть "второй вкус". Вещи первого вкуса, их сразу различишь. Второкусье — его тоже сразу отличишь, это то, в чем нет открытия.

— Актуальная для весны тема: москвич в армии...

— Москвичей в армии бьют. Прямо с порога. "Москвич?" — "Москвич". И сразу получаешь в лоб. Считается, что москвич — дешёвенький, себе на уме, с говнецом, двуличный. Такое солдатское мнение о москвичах. Это вопрос социального неравенства, социальной вражды людей одного поля провинциальных городов, которые жили одинаково бедно, и москвичей, у которых все с самого рождения было. Потом еще есть ряд особенностей. Москва — это город очень

разбогатевший. В армии москвичи никогда не держатся вместе. Как ни странно, у московских людей нет чувства землячества. А в одиночку в этих условиях можно выживать, только ища самые легкие пути. Потому что когда ты в массе, то ты себя в массе и отстаиваешь. А когда один, то себя можно отстоять только кривым путем: стукачеством, двуличием. Потом есть еще проблема интеллигента в армии. Ясно, что москвичи, они поинтеллигентнее. А что такое интеллигент? Это человек, приученный всем воспитанием чувствовать себя личностью. И он не может растворить себя в армейском коллективе. Он все время чувствует себя чем-то отдельным. Ну и масса чувствует его чем-то отдельным. Она его травит, она его как чужеродное изгоняет из себя.

Я до армии жил не совсем в Москве, я в Свиблове жил, райончик еще тот — бывшая деревня, новостройка. Там у нас банды были, и это развило во мне групповой инстинкт: всегда было спокойнее, когда вокруг люди. Когда ты растворяешься и чувствуешь счастье единения. Счастье, что ты — наоборот — утрачиваешь свою личность. Становишься частью строя солдатского, что ты маршируешь со всеми. Мне нравилась казарма, мне нравился общий стол. К тем, кто не выпивал себя, к тем в конце концов социальная враждебность пропадала, потому что в армии все одно и то же живут, в одном и том же ходят, постепенно разница стирается.

И еще такая странность: люди интеллигентные, их легче опустить. Как ни странно, самое сильное воздействие на них имеют слова. Интеллигентов, как я наблюдал, только словами и опускали. Какой-то удивительный страх слов, рабство от понятий. Что если он моет тряпкой пол, то он уже себя чувствует опущенным, а другой паренек рядом моет тряпкой пол и не чувствует себя опущенным. Для него это не символ.

— Герой-одиночка в армии возможен, как по-твоему?

— Невозможен. Армия по сути есть конфликт личности и массы. В армии он решается. Масса ломает всех и силачей, и хитрецов. Путь один: вытерпеть вместе со всеми и потом вместе со всеми взять силу. Ты можешь непрерывно драться и этим добиться к себе уважения как к мужику, как к человеку. Но власти при этом ты иметь не будешь. Меня уважали, хотя я только и огребал. Каждый день драка. Уважали, но бить-то от этого не переставали. Драки-то от этого не прекращались. Это какое-то непрерывное испытание: постоянно по тебе бьют, бьют, бьют. В армии уважают силу, но уважают и силу душевную, и силу бескорыстия, любая сила, если она в человеке проявилась, ее уважают. Но власть имеют, конечно, определенные люди.

— Тип определенный?

— Наверное, да: тип определенный.

— И что это за тип?

— А вот такой тип, который сейчас в обществе власть имеет. Тип "крутого" человека. Который все делает, не задумываясь, и идет, не задумываясь, на самые жесткие поступки. Который не боится попасть в тюрьму. Который в самоутверждении себя ни перед чем не останавливается. Безжалостный и к себе, и к другим.

— Есть такое определение: "мужественная проза". Твоя под него подходит? Возьмем Хемингуэя как показательного представителя этого ряда...

— В жизни проза Хемингуэя, в которой он вроде бы культивировал мужественность, рождала в тех поколениях, которые им зачитывались, скорее романтическую инфантильность, чем мужественность, романтизм, который потом не выдерживал многих жизненных испытаний.

— Но ведь сам-то он был мужественным человеком? Он же не врал?

— Знаешь, дело сложное. Дело не во вранье. Что вообще происходит с писателем, когда он создает свой мир? Каждый писатель, когда создает свой образ мира, компенсирует собственную неполноценность. Наверно, Хемингуэй не был таким человеком, каких описывал, а описывал он их, потому что хотел быть таким. Я тебе так скажу: человек Эрнест Хемингуэй, возможно, всю эту войну боялся, возможно, он был даже где-то с краю этой войны, но видел ее, и прочее. А в мирное время он вдруг ощутил тоску какую-то по этой войне, что кем-то он там не стал, кем мог бы стать.

У меня тоже есть чувство неполноценности — ну понимаешь, есть оно! — в связи с тем, что то, что я пережил, я пережил не до конца. Я не дошел до конца в своем пути, армейском, конвойном. И я в своих рассказах все время пытаюсь пройти до конца, пройти то, что я не прошел.

Вообще писатель, по-моему, рождается от какой-то ущемленности. Жизнь дает писателю энергию (точнее, рождает в человеке писателя в этот момент), в чем-то его ущемив, и он постоянно совершает попытки сделать себя полноценным. И Хемингуэй писал, движимый потребностью в полноценности. Почему он покончил собой? Он создал громадный мир, и ему стало очень ясно, что это придуманный мир. Им созданный мир его же стал давить, он его сожрал, как вот растишь льва, а потом он вырастает и тебя съедает. А другой писатель экстремальный — Шаламов. Его "Колымские рассказы". Тоже какая-то в них есть потребность эту жизнь достроить. Пройти тот путь, который он не прошел, но прошли другие. Что-то такое у него было на Колыме, какой-то слом внутренний. На самом деле жизнь его там сломала. И меня жизнь сломала в конвойных войсках. Но слом был такой, что дал энергию, и эта энергия — она вся уходит на восстановление.

Встречался
Юрий СОЛОДОВ.



ФОТО ИГОРЯ ИВАНКОВА

30.04.98

Павлов Олег